

Часть II.

За колючей проволокой



Глава 8. Арест

Девятое марта сорок второго года. Раннее утро. Проснулся с чувством, что случилось нечто очень хорошее. Отчего бы это? В Эрночкиной комнате свет. Она собирается на работу. Тихо, чтобы не разбудить, входит мама, что-то достает из комода, кладет рядом на стул, наверное, носки. Плотно прикрыв дверь, уходит. Сколько же времени? Ведь выйти сегодня надо пораньше. В радиорубке ничего не убрано. И тут понимаю, в чем причина хорошего настроения: вчерашний вечер, Рита. Одеваюсь, а думаю о происшедшем. Как могло это случиться, что нашла она во мне, почему поцеловала, поцеловала в самые губы? Это никак не могло, не должно было произойти. Может быть, шутка, розыгрыш, каприз? Настроение портится.

Наскоро позавтракав и засунув под ремень нужные мне тетради, выхожу на улицу. Заметно потеплело, редкие снежинки падают с хмурого неба. Но мне не до них. Надо успеть подготовить кабинет к началу занятий. Скользя по запорошенному снегом льду, натываясь на спешащих на работу людей, бегу по еще тёмным улицам пробуждающегося города. В голове одна назойливая мысль: «Как мне теперь, после того, что случилось, вести себя с ней? Хорошо, если встреча произойдёт на людях, а если наедине?».

Вот, наконец, и здание института. Обшарпанная, неказистая дверь открывается с каким-то глухим стоном. Беру у вахтера ключ, поднимаюсь на третий этаж, отпираю дверь. Риты нигде не видно. А ведь обычно она приходит очень рано, задолго до звонка. Отличница, боится опоздать. Ведь идти ей далеко. Но сегодня её почему-то нет. Почему? Может быть, как и я, боится встречи?

Убираю аппаратуру, сматываю провода, расставляю столы и стулья. Шаги ... Кто-то идет по коридору. Прислушиваюсь, затаив дыхание. Но нет, не она. Шаги шаркающие, дыхание хриплое. Вахтер. Вызывает директор. Зачем бы это? Спускаюсь на первый этаж, стучу в обтянутую чёрным дерматином дверь. Вхожу. В кабинете электрическое освещение. Окна завешены тяжёлыми шторами (светомаскировка!). Парторг суетливо запирает дверь на ключ. Странно?! Директор, всегда так хорошо ко мне относившийся, на этот раз суров и краток: «Садитесь вот здесь, к нам пришли из органов...». Не дав ему договорить, из-за стола, образующего с директорским букву Т, поднялись двое. Оба в гражданской одежде. У обоих водянистые глаза на ничего не выражающих, деревянных лицах. Один, который постарше, предъявляет ордер на

арест. Другой быстрыми, натренированными руками ощупывает моё как в ознобе дрожащее тело. Мгновение - и я уже стою с вывернутыми карманами, расстёгнутым воротом, отпущенным брючным ремнем, расшнурованными ботинками. В голове путаница и смятение. Шквал чувств и один обычный в такой ситуации вопрос: «За что?». Произнес ли я его вслух, не помню. Помню только, что первая, обжигающая мысль была о маме. Несчастливая, старенькая, что скажу ей теперь, как будет жить без меня, дождется ли моего освобождения? А Рита, что подумает она?

Когда меня выводили из корпуса, снег уже прекратился, из-за разорванных облаков светило холодное солнце. Навстречу спешили опоздавшие студенты. Поняли ли они, кто и куда меня уводит? Потом была моя первая в жизни поездка на легковой машине. Когда подъехали к нашему дому, понял, что будет обыск. Проходя мимо окон, по привычке хотел постучать, предупредить о своем приходе. Но сопровождающие меня чекисты с такой быстротой и силой перехватили руку, как будто в ней была граната.

При нашем появлении мама сразу все поняла и, пока шел обыск, стала готовить меня в дорогу. Испекла на керосинке лепёшек, из комода достала чистое бельё, мыло, зубную щётку и все это сложила в свою старенькую хозяйственную сумку. Немного постояв в нерешительности, достала Петины шерстяные носки и сунула их туда же и обессиленная переживанием опустилась на стул. Старенькая, морщинистая, в глазах слёзы. И ни одного вопроса, ни слова упрёка. Одно безмолвное отчаяние и безысходность. И никакой возможности утешить. Каждая попытка сказать что-либо немедленно пресекается чекистами, деловито роющимися в книгах, тетрадах, белье. Пытаюсь хотя бы взглядом ободрить её, успокоить, но она в ответ только жалко улыбается, качая головой, и по её дряблым щекам все текут и текут слёзы.

Но вот обыск закончен. Чекисты деловито складывают в большую брезентовую сумку конфискованные книги, в основном немецкие, написанные к тому же готическим шрифтом. Подписав какие-то протоколы, уходят понятые. Я с ужасом смотрю на свою безмолвную старенькую маму, в оцепенении сидящую на стуле. Сейчас она останется совсем одна среди разбросанных по полу и стульям книг и белья. Один на один со своим безмерным горем.

Всё! Последние шаги к двери. И в этот момент она бросается ко мне, обнимает, а сама шепчет: «Робочка, родной, это всё, больше в этой земной жизни мы никогда уже не увидимся, благослови тебя бог». Её грубо оттаскивают, хлопает входная дверь, и меня вталкивают в машину. Урчит запущенный мотор. И вот уже,

подпрыгивая на ухабах, машина несёт меня в первый круг ада. Всё! Прощай, родная моя, дорогая мамочка. Никогда, никто не сможет любить меня так, как любила ты: терпеливо и бескорыстно. Никто, никогда не заменит тебя.

А потом была внутренняя тюрьма НКВД. Огромное серое здание на базарной площади Тамбова. Казавшееся бесконечным сидение в каком-то темном, сбитом из досок не то шкафу, не то чулане. Тщательный, с раздеванием догола, обыск; стрижка; помывка, после которой бельё, верхнюю одежду и обувь вернули без пуговиц и шнурков. Наконец, снятие отпечатков пальцев и фотографирование в профиль слева, справа и в анфас. Поддерживая левой рукой спадающие брюки, подписываю какие-то описи, протоколы, акты. Но традиционного в таких случаях вопроса «за что?» не задаю. Для них я преступник и враг. Боялся побоев, издевательств, но этого пока не было. Пожалуй, самой унижительной процедурой была «стрижка», когда молодая и довольно симпатичная женщина в форме сотрудника НКВД бесцеремонно, как на скотине, стригла и выбривала все волосистые части моего голого тела.

И вот, наконец, камера-одиночка, длинная и узкая, как ученический пенал. Железная койка, стол и табуретка. В дальнем конце у потолка забранное стальной решеткой не то окно, не то амбразура. С противоположной стороны тяжёлая, обитая железом дверь, в центре которой небольшая раздаточная дверка, а над ней глазок, в который то и дело заглядывает охранник. Над дверью в углублении забранная сеткой яркая лампочка, от пронзительного света которой нельзя скрыться ни днём, ни ночью. На полу у двери неизменная спутница тюремной жизни - параша. Здесь же слева приклеена к стене инструкция: «Права и обязанности заключённого».

Когда дверь с металлическим лязгом захлопнулась и зловеще повернулся в замке ключ, я, убитый всем случившимся, прежде всего уставился в эту инструкцию. И не потому, что хотелось знать, что разрешено мне делать в этом застенке, а потому, что успокаивал сам процесс чтения. Снова и снова перечитывал я незамысловатый текст, даже шевелил губами, но ничего из прочитанного понять не мог. В голову лезли совсем другие мысли, другие картины.

Успокоившись, подошел к окну. Дотянуться до него даже мне было трудно. Проверить это не решаюсь, могут посадить в карцер. В окно виден лишь небольшой клочок неба, такого далёкого и недоступного. Стол, табуретка и кровать металлические, намертво

закреплены в цементном полу. В воздухе густой запах параши и прожаренного в сушильной камере суконного одеяла. Смертельно устал, хочется лечь, но до отбоя категорически запрещено. Обед. Надзиратель в открытую раздаточную дверцу подал граммов двести хлеба, горячую металлическую миску с баландой и несколько ложек овсяной каши. Но было не до еды. К тому же в сумочке завернутые в бумагу мамины лепёшки. Вечером ужин: тоненький кусочек хлеба и подслащённый чай. Для военного времени терпимо.

Ночь прошла тяжело. Яркий свет лампы слепил. Каждая попытка отвернуться или прикрыть глаза одеялом немедленно пресекалась надзирателем. Когда, наконец, уснул, стали сниться кошмары. То и дело просыпался, и каждый раз заново осознавал и переживал случившееся.

И потянулись длинной однообразной чередой дни тюремной жизни. Подъём, оправка, завтрак, обед, ужин, отбой - её временные ориентиры. Два раза в неделю «прогулки» на дне каменного колодца, именуемого прогулочным двором. И полная неизвестность. За что взяли меня? За национальность? За дядю Роберта? За увлечение радиотехникой? За разговоры с Симачом? За споры с Филиным? «Национальность вряд ли может быть той причиной», - думал я. Во всяком случае нажимать на это не будут. Можно сослаться на Маркса, Энгельса, Тельмана. Дядя Роберт? Но о нем я ничего толком не знал. Не знал даже, жив ли он. Ведь ему должно было быть далеко за семьдесят. Радио? Но ведь в первые же дни войны, как только поступило распоряжение властей, я сдал и приёмник, и все детали, вплоть до последней проволоочки. Отнес даже паяльник. Да и во время обыска не нашли ни одной детали и похоже, что вообще искали не их. Разговоры с Симачём? Это уже серьезнее. За них действительно могли посадить. Но были они давно и велись только наедине. Да и что собственно в них было? Ни планов, ни заговоров. Просто общий взгляд на происходившие в стране события. При этом в основном говорил Симач, а я больше слушал. Нет, здесь нужно от всего отказываться, твердо решил я. Отказываться, чтобы ненароком не навести беду на друга. Остаётся Филин! А, возможно, жалоба обществоведов. Но ведь все эти споры касались главным образом философских проблем математики и физики. О чем, например, мы спорили последний раз. Да, конечно, о природе математических знаний: математик открывает свои теоремы как естествоиспытатель или изобретает как инженер? Действительно ли меня так волнует этот вопрос или это лишь повод поспорить, показать товарищам и прежде всего Рите свою эрудицию? Кому это могло повредить и в чем тут состав пре-

ступления? Что еще? Были, конечно, сокровенные мысли и чувства, но о них ни с кем, кроме как с Симачём, никогда не говорил. Хотя в разговорах с Ритой могла проскользнуть антипатия к вождю, партии, чекистам. Так хотелось быть оригинальным, нестандартным. Вообще же я плохо помнил, о чем говорил с нею. Знал только, что не о любви. Хоть бы скорее допрос, думал я.

По вечерам после отбоя, ворочаясь на жёсткой, поскрипывающей койке, мысленно обращался к дому. Пытался представить, что делает мама, Эрночка, Лиза, ребятишки. Но снова и снова возникала картина обыска. Как пережила она все это? Здоровали? Жива ли? А если её тоже арестовали? Ведь для них преклонный возраст не помеха. Сажали и восьмидесятилетних. О Рите я почему-то вспоминал редко.

Вызвали меня к следователю только через месяц после ареста, когда душа моя уже истлела в догадках и переживаниях. Вызвали среди ночи. Сонный, неумытый, поддерживая спадающие брюки, иду по длинным, гулким коридорам. Спереди и сзади по охраннику, а по бокам бесконечная вереница окованных железом дверей. Потом винтовая лестница в узком каменном колодце, пронизывающем верхние этажи здания - цитадели Тамбовского НКВД. Надо мной и подо мной топот кованых сапог по железным ступеням. Последний поворот, площадка - и вновь коридор с вереницей дверей. Только теперь коридор значительно выше, двери реже и не железные. Входим в затемнённую комнату. Большой письменный стол. На столе лампа-прожектор, направленная мне прямо в лицо. Рассмотреть что-либо трудно. Скорее по голосу, чем по внешнему облику, заключаю, что следователь совсем молодой. Голос тихий, спокойный, пожалуй, даже вкрадчивый.

После некоторых протокольных вопросов начался допрос, носивший на первых порах, как я теперь понимаю, несколько необычный характер, напоминая, скорее всего беседу двух знакомых людей. Следователь со знанием дела расспрашивал об институте, учебе, преподавателях, знакомых, товарищах. Знал он о них достаточно много, зачастую больше, чем я. Преподавателей называл по имени и отчеству. Особенно настойчиво расспрашивал о Сажине. И это меня удивило. Его-то я знал меньше других. О Симаче, о дяде Роберте, о моем увлечении радиотехникой ни слова. И это успокаивало. Постепенно разговор перешел на философские темы. Я легко попался на предложенный мне стиль общения и, утратив всякую осторожность, окунулся в обсуждение отвлеченных философских проблем. Следователь же был очень терпелив, всячески поощряя мои разглагольствования. Только изредка преры-

вал вопросами, уточняющими условия, в которых я раньше высказывал соответствующую мысль, когда и где это было, кто присутствовал при этом. Снова и снова возвращался к высказанному мною на одном из семинаров утверждению, что законы диалектики применительно к математике нельзя толковать упрощённо, что между сложением и вычитанием, дифференцированием и интегрированием нет никакой «борьбы противоположностей», как утверждал кто-то из студентов.

Второй допрос, тоже ночью, был жёстче и касался совсем уж странных для меня вопросов. Например, следователя интересовало, сказал ли я, играя в шахматы в фойе кинотеатра «Модерн», что там не хватает красного фонаря. Я вспомнил этот случай. Действительно, в одно из посещений этого любимого нами заведения, обнаружив, что вся драпировка из голубого и зелёного бархата заменена красным ситцем, я сказал, что в таком случае и голубые плафоны надо заменить красными. Но что в этом не понравилось следователю, я понять не мог. И это его разозлило: «Как же так, ты такой грамотный, а «Яму» Куприна не читал», - впервые обращаясь ко мне на «ты», сказал он. А я её действительно не читал. Однако он не поверил и обвинил меня в том, что я издевался над цветом народной крови и революции. Потом речь пошла о каком-то, по-видимому, очень патриотическом киножурнале, предшествовавшем фильму «Большой вальс», по поводу которого я очень неосмотрительно выразился «мать голубая». Хотя я плохо помнил содержание того журнала, но «мать голубая» в те годы была моей излюбленной оценочной фразой, и я вполне мог её произнести, о чем и поведал следователю.

Наконец всплыла фраза «Будет и на нашей улице праздник», которую якобы сказал кто-то из нас двоих - либо я, либо Сажин. Я такой фразы не говорил. Её просто не было в моем лексиконе, и я с чистой совестью на этом настаивал. Следователь, игнорируя мои возражения, требовал объяснить, какой смысл мы вкладывали в эту фразу.

Потом, вернувшись в камеру, я мучительно пытался вычислить информатора. Большие подозрения у меня вызывал Сажин, но последующие события показали, что я ошибался. Оказалось, Сажина тоже арестовали, и наши дела пересеклись на этой злощастной фразе о празднике на нашей улице. Нам даже устроили очную ставку, на которой Сажин держался очень жёстко и всё отрицал. Я поражался тому, как он разговаривал со следователем, резко и категорично. Конечно, он был года на три старше меня, отслужил армию, был более опытным и самостоятельным. И всё-

таки главное было в различии наших характеров. У меня бы даже язык не повернулся вот так всё отрицать.

После одного из очередных допросов охранники повели меня в другую камеру, и я даже расстроился, поскольку привык к своей. Новая камера была уже занята: крупный мужчина с бледным лицом и лохматой рыжей бородой сидел на койке, обхватив голову руками, и тихо постанывал. При моём появлении он даже не пошевелился. Вторая койка была свободна и, очевидно, предназначалась мне. Когда охранник ушёл, он, выдержав паузу, внимательно посмотрел на меня и глухим голосом произнес «Ты что же, очередная подсадная утка? Не слишком ли молод для этого?» Почему-то запомнились его голубые, глубоко запавшие глаза. Я начал оправдываться, рассказывать свою историю. Но чем больше я говорил, тем с большим недоверием, как мне казалось, он меня слушал. Я обиделся и замолчал. Он тоже молчал. До подъёма оставалось часа два. Незаметно я уснул. Весь день почти не разговаривали. Однако на следующий день всё же разговорились. В конце концов он кое что рассказал и о себе. Сказал, что его фамилия Стакун, что до войны был вторым секретарём белорусского ЦК, что попадал то ли в плен, то ли в окружение (теперь уже не помню) и что теперь от него побоями добиваются признания в вербовке.

Я слушал с недоверием, подозревая его, как и он накануне меня, в стукачестве. Многие казались подозрительным: и то, что такой чин находился не в московской тюрьме, и то, что меня, заурядного преступника, болтуна посадили к нему в камеру, и то, что он был с бородой (я-то думал, что стригут всех), и то, что глубокой ночью, когда меня привели с допроса, он в нарушение строгих правил, не лежал на койке, и, наконец, такая странная фамилия. Но слушать его было интересно. Он рассказывал о многих, хорошо известных в политике людях, часто такое, что нам стало известно только теперь. Учил вести себя на допросах (если бы раньше!). А я, напуганный всем случившимся, слушал его молча, не перебивая, не расспрашивая, не выражая интереса.

Когда на очередном допросе следователь узнал, что я несколько дней провёл в одной камере со Стакуном, он то ли сделал вид, то ли на самом деле страшно разозлился и даже звонил (при мне!) кому-то, требуя, чтобы меня вернули в прежнюю камеру-одиночку.

Я был уверен, что встреча со Стакуном - какая-то специально разыгранная провокация, однако с какой целью она проводилась, понять не мог. Лично для меня случившееся никаких последствий

не имело. И вообще в разговоре со мной следователь к этому событию больше не обращался. Но рассказанное Стакуном глубоко запало мне в душу.

После пяти, максимум шести допросов следователь, выписав в один протокол наиболее «криминальные» места, сделал на их основании заключение о том, что мы с Сажиним вели антисоветскую агитацию среди студентов. Я возражал, уверяя, что никого никуда не агитировал, а если и спорил иногда на семинарах, то только потому, что хотел разобраться в непонятных для меня вопросах. Присутствовавший на этом последнем допросе какой-то энквдешный чин, по-видимому, начальник моего следователя, голосом, не допускающим возражений, заявил: «Дело не в том, что ты хотел сделать, а в том, что произошло. Ты высказывал мысли, враждебные нашему строю, нашей стране, причинив тем самым вред государству, и должен теперь понести наказание, суровое наказание».

Потом, вернувшись в камеру, я долго думал над тем, что произошло. Никто меня ни к чему не принуждал, не тянул за язык. Я сам как на духу выложил следователю почти всё, что думал, что мучило меня. Практически ни от чего не отказывался. Чаще всего отделялся словами: «Говорил я это или нет, не помню, но сказать мог». А что было бы, если бы я, как и Сажин, от всего отказывался?

По-видимому, за такое примерное поведение отношение ко мне по тем временам было вполне сносным: никто не бил, не пытал меня. Мне разрешалось пользоваться тюремной библиотекой, причем, как это ни удивительно, читать давали в основном литературу политическую и философскую. Однако ни писем, ни передач, ни тем более свиданий не разрешали. Суд состоялся 3 июня 1942 года. Судили нас вдвоём с Сажиним по печально известной статье 58-10,11 часть вторая. Пункт 10 означал антисоветскую агитацию, пункт 11 - групповую деятельность, а часть вторая - что деятельность осуществлялась в военное время. Суд был закрытым. Ничего похожего на то, что в таких случаях теперь показывают по телевидению. Ни стульев с непомерно высокими спинками, ни судейских мантий, ни особого отгороженного места для обвиняемых, ни родственников, знакомых или просто зрителей, так оживляющих процесс, ни торжественного «Встать, суд идёт!».

Все очень буднично. Довольно большая продолговатая комната. В дальнем конце три больших и узких, как в церкви, окна. Среднее из них заложено кирпичом. Два других занавешены тёмными портьерами. В комнате полумрак. За большим письменным

столом трое или четверо в гражданской одежде. По-видимому, судьи и представитель обвинения. Перпендикулярно к основному столу приставлен другой, узкий и длинный. В дальнем его конце, ближе к судьям, старичок, серый и невзрачный - государственный защитник. Напротив него свидетели. Слева от двери два стула. Для нас с Сажиним. В дверях, прислонясь к косякам, два конвоира. Рассматриваю присутствующих. Лиц свидетелей не видно, они к нам спиной, но двоих узнаю, они из нашей группы. Рядом с ними девушка, вся в чёрном, даже голова покрыта тёмной косынкой. Как на похоронах, подумал я. Приглядываюсь. Что-то знакомое, что именно не могу понять. И вдруг... сердце замерло. Неужели Рита?! Но почему в такой странной одежде и ещё в косынке? Никогда раньше в таком наряде, и особенно в косынке я её не видел. Пытаюсь разглядеть, но мешает спинка стула и полумрак. Никогда раньше не думал, что не смогу узнать человека, тем более любимого, в пяти шагах от себя. Пытаюсь заглянуть сбоку, но окрик конвоира останавливает меня.

Начался процесс. Несколько общих вопросов, удостоверяющих наши личности. Потом выступление обвинителя, потребовавшего высшей меры. Несколько вопросов свидетелям. Поднимаются по одному, подтверждают пункты обвинения: «Да говорил, да слышал». Но вот, наконец, поднялась и девушка в черном. Какой ей был задан вопрос, не слышал. Главное, это была не Рита. В душе все возликовало «не Рита, не Рита». И вдруг, как будто из ушей вынули вату, услышал её голос:

– Не помню, не слышала, при мне этого не говорили.

Кто она, чего не слышала, как посмела отрицать? Возможно, эти слова относились к Сажину, или сказаны нам во вред. Не зная вопроса, не мог судить. Но сам факт отрицания, необычен и опасен для неё.

Что-то невнятное, пугаясь своих собственных слов, пролепетал защитник, и вот уже нам предоставляется последнее слово. Первым говорит Сажин. К моему удивлению, он ничего не отрицает, более того, раскаивается в содеянном преступлении и просит направить его на фронт, чтобы кровью смыть свою вину. Что говорил я - не помню, был как в бреду, знаю одно, всё сказанное предназначалось не столько судьям, сколько Рите в лице таинственной незнакомки в чёрном. Мне было так важно выглядеть в её глазах мужественным и смелым. Судя по всему, моё выступление судьям не понравилось. Во всяком случае, перед зачитанием приговора судья особо отметил мое странное поведение на суде.

Но вот и сам приговор. Просьба Сажина удовлетворена, и он направляется на фронт в штрафной батальон. Мне высокий суд счёл необходимым в соответствии с частью второй статьи 58-10-11 определить высшую меру наказания. Здесь судья сделал небольшую паузу, а девушка в чёрном опустила голову.

– Однако, – продолжал судья, – учитывая возраст подсудимого и его поведение на следствии, суд счёл возможным заменить высшую меру наказания десятью годами исправительно-трудовых лагерей общего режима.

Я отнёсся к приговору спокойно, даже безразлично. Ведь следователь столько раз предупреждал, что десять лет мне обеспечены. Гораздо больше меня волновал вопрос, кто эта девушка. Надеялся, что сейчас все встанут, и я увижу её лицо. Но нас с Сажиним вывели первыми, и я остался в неведении.

Сразу после суда меня увезли на «чёрном вороне». Но не в следственный изолятор, в котором я провел 90 дней и к которому успел привыкнуть, а в городскую тюрьму, расположенную на противоположном конце города. Тюрьма старинная, построенная задолго до революции. На её окнах «намордники» - железные ширмы, мешающие узникам подавать на волю сигналы. Из-за этих «намордников» тюрьма кажется подслеповатой. Камера, в которую втолкнул меня охранник, почти вся занята деревянными двухъярусными нарами. На нарах человек двадцать. Все голые по пояс. Жара и духота невероятные. Между нарами и стеной совсем небольшое пространство. В нем огромная параша. Ни стола, ни стула. Стою с маминной сумкой в руках и с тоской вспоминаю свою одиночку. Кажется, никто не обращает на меня внимания. Все заняты своими делами. Кто с иголкой в руках неумело, по-мужски чинит свою одежду, кто в швах снятой рубашки ищет и бьет насекомых, кто читает, кто просто лежит на нарах. Сразу видно, что режим здесь мягче, чем в следственном изоляторе. Пауза затягивается. Продолжаю стоять, переминаясь с ноги на ногу, не знаю, как быть, что делать дальше. На нарах не видно ни одного свободного места. Постепенно, один за другим, жильцы камеры поворачивают свои лица в мою сторону. В их взгляде вопрос. Здороваясь, сообщаю свои тюремные координаты: статью и срок. Все молчат. Может быть, я сделал глупость, и сейчас все засмеются. Но нет, все молчат. Кажется, все значительно старше меня. Но, может быть, так только кажется из-за многодневной щетины на их лицах. У некоторых бороды. Наконец один из них, с аккуратной профессорской бородкой, поманил меня рукой и, поджав ноги, дал возможность сесть. Был он действительно преподавателем вуза,

хотя и не профессором. Осужден, как и я по пятьдесят восьмой статье, и срок тот же – десять лет. Был он интересным собеседником и добрым человеком, а разница в возрасте определяла его покровительственное отношение ко мне.

Были среди сокамерников люди разных профессий: и гражданские, и военные. Большинство из них осуждено по пятьдесят восьмой статье, почти у всех срок 10 лет. Возраст самый различный. Некоторые из них уже побывали в лагерях, и теперь получили новые сроки. Многие в полной мере испытали жестокость настоящего следствия. Они удивлялись мягкости, с которой оно прошло для меня. Удивляло их и то, что приговор мне выносил суд, а не Особое Совецание, как большинству из них. По их мнению, решающее значение сыграло то, что я не отрицал выдвинутых против меня обвинений и поэтому годился для судебного процесса. Дела же тех, кто упорствовал в отрицании своей виновности, следствие предпочитало направлять в Особое Совецание. Их рассказы раскрыли мне глаза на масштабы репрессий и жестокость следователей. Некоторые из осуждённых еще несли на себе следы побоев. Те, которые уже побывали в лагерях, знакомили с обычаями и законами лагерной жизни.

Пробыл я в этой камере менее месяца. В конце июня вызвали на этап. Тяжело было расставаться с только что обретенными товарищами и отправляться в неизвестность. Но ничего нельзя было поделать. Таковы законы тюремной жизни, и таких этапов в моей жизни будет еще много. Однако на этот раз этап необычен - я и охранник. Везут на вокзал и там сажают в общий вагон. Ничего похожего на то, о чем рассказывали бывалые лагерники. Ни длинной шеренги заключённых, ни многочисленного конвоя, ни собак. Что это значит? Куда везут, зачем? Решаюсь спросить конвоира. Он спокойно ответил, что конвоирует меня в мичуринскую пересыльную тюрьму и больше ничего не знает. До Мичуринска километров семьдесят. Это максимум два часа езды. А поезд пока стоит. В вагон входят люди с чемоданами, сумками, рассаживаются. Мы с охранником сидим рядом, плечом к плечу. Догадываются ли пассажиры, что я заключённый, а сидящий рядом со мной добродушный, толстенький с круглым лицом человек в полувоенной форме - мой конвоир?

Если бы можно было дать знать маме. Сейчас она могла бы быть рядом со мной. Вот хотя бы вместо этой крестьянки в чёрном платке и двумя большими корзинками. От одной этой мысли в тоске сжимается сердце. Мне непременно нужно еще хоть раз, хоть на несколько минут увидеть её, обнять, прижаться и главное ска-

зять, как не хватает её мне, как люблю я её. В голову приходит совсем уж безумная мысль: бежать. Со щемящим чувством и болью смакую её. До двери всего три шага. Охранник вроде бы дремлет. Вспоминаю, как мы с Симачём, удирая от проводника, выпрыгивали из вагона идущего поезда. Тогда всё окончилось благополучно. Может, повезёт и теперь. Лишь бы добежать до дома и увидеть маму, а там будь что будет, сам приду в тюрьму. Надо только подобрать момент, когда поезд, набирая скорость, будет отходить от станции. Весь сжался, согнулся, отложил мамину сумку в сторону, жду, когда поезд тронется. Сердце бешено колотится. Мысленно преодолеваю путь, который мы когда-то проделали с Симачём. Неужели будет стрелять? А если будет, то, попадет ли с идущего поезда? Нет, скорее всего, тоже спрыгнет. Но здесь я легко убегу от него. У него такие короткие ноги. Желание и страх борются во мне. Грудь сотрясают бешеные удары сердца, мышцы напряжены, руки уперлись в жёсткое сиденье, тело наклонилось вперед. Скосил глаза в окно, сейчас тронется. И в этот момент в тамбуре появляются два милиционера, закуривают, о чем-то мирно разговаривают. Поезд трогается, стук колёс всё чаще. До другого тамбура далеко. Всё! Я с облегчением понимаю, что моим диким планам не дано осуществиться. Ужасная слабость охватывает меня, как будто я пробежал не один десяток километров. С ужасом думаю, какую глупость мог сделать. Это было бы похуже, чем отлучка из Рассказово. Привалюсь к окну, задремал.

Очнулся только, подъезжая к Мичуринску. У вокзала нас уже ждал «чёрный ворон». Несколько дней, проведённых в мичуринской тюрьме, запомнились плохо. Здесь формировался большой этап на восток, куда - точно никто не знал. Везли в товарных вагонах двое суток. Проезжаем Кирсанов, Ртищево, Аткарск. Значит скоро Саратов. Сердце сжимается. Скоро Поливановка, наша дачная остановка. Пытаюсь подобраться к маленькому окошечку с правой стороны вагона по ходу поезда. Отсюда можно увидеть наш сад. Но добраться до него не удаётся. Нары у окошка заняли уголовники, и просить у них бесполезно. Нахожу небольшое отверстие, выбитый сучок. Но поле зрения слишком мало. Все мелькает. Не столько увидел, сколько почувствовал, что едем мимо родных мест. Но это всё! Начался пригород Саратова. Больше десяти лет не был я в нём. Загнали в какой-то тупик. Ночью снова в движении, едем медленно, то и дело останавливаясь. Наконец вроде бы привезли. До рассвета стояли на каком-то пустыре. Утром выгрузка. «Сарлаг», КОЛП - комендантский отдельный лагерьный пункт под Саратовом. Сюда идут этапы со всех лагерей стра-

ны. День-два, и вновь сформированные этапы направляются по лагерям, организованным для строительства завода крекинга нефти и дороги вдоль Волги на Сталинград. Задерживаются только заключённые немецкой национальности. Из них будет сформирован этап на Урал. А пока они в обслуге. На работу за зоной направляют только добровольцев. Это дает дополнительно триста граммов хлеба. Пересылка огромная, больше я таких не встречал. Огораживающий её частокол с колючей проволокой и сторожевыми вышками теряется вдали. Несколько рядов длинных, врытых в землю не то бараков, не то землянок. Днем между ними «кучкуется» лагерный народ. Иногда по национальному признаку. В одном месте группа узбеков в длинных оборванных халатах и тюбетейках, сидя на корточках, распивает чай. Говорили, что заварку они выменивают на хлеб и пухнут с голода. В другом месте группа кавказцев, которые, яростно жестикулируя, обсуждают какие-то свои проблемы. И никаких признаков национальной вражды. Посреди зоны два высоких, врытых в землю столба. На них натянут огромный экран. Когда темнеет, крутят фильмы. В основном хронику. Заключённые располагаются прямо на земле, по обе стороны от экрана.

Барак, в который меня поместили, показался огромным. Три яруса низких нар, на которых, постелив, кто пальто, кто шинель, кто телогрейку, спали заключённые, в большинстве своём немцы, отбираемые на этап. В бараке полумрак. Окон немного и они маленькие. Около них нижняя лента нар рвётся. В одном из таких мест с помощью старых лагерных одеял отгорожено небольшое пространство - нечто вроде маленькой комнатки. В ней две койки, застеленные новыми суконными одеялами, подушки в чистых белых наволочках. Между койками тумбочка. Жили там два немца. Кайзер и Горн. Кайзер пожилой, щуплый, с редкими седыми волосами, Горн молодой, лет тридцати, крепко сбитый, с копной жестких чёрных волос. Около них всегда вертелись какие-то подозрительные личности, что-то приносили, что-то уносили, о чём-то советовались, иногда заходили надзиратели. При проверках, когда все, даже тяжело больные, выстраивались вдоль нар, Кайзер и Горн продолжали сидеть в своем закутке и, что казалось особенно странным, охранники, пересчитывающие заключённых, не выгоняли их в строй. В обед из больничной кухни им приносили еду, от одного аромата которой у меня сводило желудок. И никто не нападал на них, не пытался что-нибудь отнять или хотя бы украсть.

По вечерам Кайзер любил играть в шахматы, но играл не ахти как. Я, лежавший как раз над ними, этим воспользовался и как-то,

набравшись смелости, стал объяснять Кайзеру, к каким последствиям может привести сделанный им опрометчивый ход. Так мы познакомились. Кайзер оказался интересным собеседником, начитанным, много повидавшим и много испытавшим. Из его рассказов следовало, что за свою жизнь он успел побывать во многих лагерях и тюрьмах, встретиться со многими интересными людьми. Знал огромное количество блатных песен и, что меня особенно поразило – баллады Шиллера. Горн был проще и явно подчинялся воле Кайзера. Они мне покровительствовали. Помогли подготовиться к этапу и надвигающейся зиме. Достали пусть не новую, но всё-таки достаточно тёплую, на вате шапку и довольно приличную телогрейку. Снабдили котелком и деревянной ложкой, без которых в лагере жить невозможно.

В середине августа был, наконец, сформирован этап на Урал. В нём одни немцы. Погрузка - поздним вечером. А у меня куриная слепота. С трудом различаю длинный состав из товарных вагонов. У каждого вагона два конвоира и человек 50-60 готовящихся к посадке заключённых. Кроме того, вокруг всего эшелона общее оцепление - автоматчики с собаками. И почти никакого освещения. Только пятна от света карманных фонарей в руках руководителей конвоя. Я, Кайзер и Горн в соответствии со списками попадаем в один вагон. До сих пор это кажется мне странным.

Наконец посадка. В вагоне у самого потолка маленькая лампочка. Слева и справа от дверей нары, которые делят его на два этажа: нижний и верхний. Уже прохладно, особенно ночью, и все хотят занять место на нарах. Но и здесь решающее слово за Кайзером. Они с Горном занимают лучшее место: на нарах, справа по ходу поезда, у маленького, забранного решеткой окошка. Там же нашли место и для меня.

В чем их таинственная сила? Ни ругани, ни криков, ни угроз. Их воле подчиняется большая часть оказавшихся в вагоне заключённых. И что еще более странно, с ними уважительно разговаривает охрана. С лагерными «паханами» подобного рода, если они ими были, мне больше встречаться не приходилось. Что бы там ни было, их покровительство существенно облегчило моё вхождение в лагерную жизнь.

Наконец задвинулись тяжёлые двери. Конвой длинными деревянными молотками обстучал днища и стенки вагонов. Прозвучали последние команды. Снялось общее оцепление. Внутри вагона заключённые в полутьме, устраиваясь на ночлег, растаскивали сваленную в углу солому. Но было её немного. Из-за этого начались ссоры. И еще, никто не хочет ложиться у параши.

Раздался свисток, состав тронулся, и под мерный стук колёс началось наше движение на Урал. Двигались медленно, пропуская воинские, пассажирские и даже товарные составы. Подолгу стояли на полустанках и тупиках, часто в открытом поле. Большие железнодорожные станции проезжали, не останавливаясь и чаще всего ночью или окольными путями. Каждое утро и вечер, как только поезд останавливался в каком-нибудь тупике, начиналась проверка. Конвой сгонял всех заключённых, содержащихся в вагоне, в одну из его половин, а потом по одному перегонял в другую. При этом конвоир, ведущий счёт, норовил каждого проходящего ударить по спине своим длинным деревянным молотком. Это существенно ускоряло проверку. Уже в первый день движения мы поняли, что конвой не сарлаговский. Поняли по тому, что общей процедуре проверки были подвергнуты и Кайзер, и Горн. Но это не поколебало их авторитета в нашей арестантской среде.

В вагоне одни немцы, почти все с нижней Волги. Подавляющее большинство из них в прошлом занимались крестьянским трудом. Крепкие, привыкшие к физическому труду и лишениям люди. Растерянные, подавленные, несчастные. Осуждены в основном по 58 статье или по указу «От седьмого-восьмого» о хищении государственной собственности (закон о трех колосках). Плохо владея русским языком, большинство из них предпочитает говорить по-немецки. Их разговоры в основном о событиях, связанных с выселением немцев с Волги. У каждого своя история, своя судьба. Разоренный кров, погибшие родители, потерявшиеся дети, издевательства конвоя, а иногда и местных жителей. И всё это только за то, что они немцы. К невзгодам своей личной жизни эти люди относились спокойно. Главное, что мучило их, была неизвестность и полная беспомощность, невозможность помочь обречённым, как им думалось, на гибель родным. Недобрым словом поминали Гитлера, спровоцировавшего все их несчастья, а также предков, поверивших обещаниям Екатерины II и решившихся приехать в Россию. И ни слова осуждения, по крайней мере, вслух, в адрес советской власти. Поражало их полное смирение перед судьбой.

Но были в вагоне и люди другого склада: решительные, жёсткие. В большинстве своем горожане, владеющие русским языком. Среди них кадровые военные, удалённые из армии в первые месяцы войны, а также уголовники. Последние в условиях общей беды, постигшей российских немцев, вели себя в вагоне сравнительно терпимо и таинственным образом подчинялись воле Кайзера.

Кормили в пути плохо. На день 300 граммов хлеба и кусок солёной рыбы, но особенно страдали из-за перебоев с водой, а курящие - ещё и из-за отсутствия табака. Однако со временем курящая часть заключенных сумела договориться с конвоем, и принадлежащие им вещички, пошли на волю в обмен на махорку. Вскоре обменные операции вошли в систему. Вещи и деньги обменивали не только на табак, но и на продукты. Примерно в то же время просочилась информация, что везут нас в Усольлаг, один из многочисленных лесозаготовительных лагерей, расположенных на севере Пермской (в то время Молотовской) области. Стал даже известен конечный пункт движения по железной дороге - город Соликамск. Натренированный в играх «в города» я попытался предсказать, через какие крупные железнодорожные станции будет двигаться эшелон и практически не ошибся. Дорога шла через Сызрань, Ульяновск, Казань, Ижевск, Пермь (тогда Молотов).

В нашем вагоне оказался некий Адлер, который, по его словам, хорошо знал те места. Он и сообщил нам первые сведения об Усольлаге, условиях работы и содержания. Главное, что лагерь не режимный и, следовательно, можно писать и получать письма. Кто-то вспомнил, что при лагере есть трудармейцы - мобилизованные немцы, также находящиеся под конвоем.

Сам Адлер выделялся военной выправкой, прекрасным телосложением, независимым и, по-видимому, сильным характером. Отношения его с Кайзером были прохладными. Из его скупых реплик можно было заключить, что вырос он на Урале, служил в армии в звании старшего лейтенанта. На фронте командовал разведротой. Когда пришел приказ о срочной демобилизации, подчиниться отказался и ушёл со своей группой в очередную разведку, но был перехвачен, и судим военно-полевым судом. Потом в Усольлаге мы оказались в одном лагпункте, но об этом позже.

Прибыли мы в Соликамск лишь на десятые сутки, измученные жаждой, голодом и духотой. Вскоре появилось оцепление, слышались крики команд, лай собак, тяжёлые двери вагонов со скрипом раздвинулись, и мы, спрыгивая по одному на землю, с вещевыми мешками, выстраивались в шеренги. Потом неоднократные проверки, сличение с формулярами и вот уже нас ведут длинной серой колонной к воротам комендантского лагпункта. Был он совсем близко. Специальная железнодорожная ветка обеспечивала невидимость для жителей города повседневного движения заключённых.